

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Разрыв Тургенева с "Современником" - Огаревское дело - - Болезнь и смерть Добролюбова

Теперь расскажу - каким образом произошел разрыв между Тургеневым и "Современником".

Добролюбов написал статью о повести Тургенева "Накануне", и она была послана к цензору Бекетову. Все, читавшие эту статью, находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий.

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

- Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно оскорбился его статьей... И как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки "Современника"! Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне Колбасиным, Добролюбов будто бы глумится над его литературным авторитетом, и вся статья переполнена какими-то недобросовестными, ехидными намеками.

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе как Тургенев.

Я удивилась, - каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал:

- Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи... нельзя же ссориться с ним!

- А вы находите, что с Добролюбовым можно? - спросила я. - Он наверно не захочет признать за Тургеневым цензорские права над своими статьями.

- Добролюбов настолько умен, что поймет всю невыгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев! - ответил мне Некрасов.

- Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится.

Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал:

- Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло до него и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылал и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне.

Предположение Некрасова не имело основания: Добролюбов в обществе никогда не касался личностей литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась - почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику?

- Ну, что толковать о пустяках, - ответил Некрасов. - Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился.

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

- Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? - сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю; тогда Добролюбов продолжал:

- Отличился Тургенев! По-генеральски ведет себя... Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову.

Я заметила, что не стоит тратить время на объяснение.

- Как не стоит! - возразил Добролюбов. - Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя позволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения, кому ему вздумается...

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда торжественно объявлял: "Я, господа, опять получил выговор от начальства - это третий в один месяц!" - и с гордостью обводил глазами всех. Тургенев потешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России! Простодушный Бекетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах.

Когда Бекетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал:

- Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости!

Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью.

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, подавая мне записку, сказал:

- Мне не удалось опять застать дома Тургенева, я оставил ему письмо и вот какой получил ответ - прочитайте-ка.

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: "Выбирай:

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил:

- Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал!.. Какая черная кошка пробежала между нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с "Современником". Это повредит журналу, да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыпятся разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого... Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему позднему приходу. Я придала шуточный тон своему поручению и сказала:

- Я явилась к вам как парламентар.

- Догадываюсь - предлагают сдать? - с усмешкой спросил он.

- Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранил важную потерю для журнала; Некрасов получил записку от Тургенева...

- Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в "Современнике", если напечатают мою статью, - перебил меня Добролюбов. - Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придраться к моей статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения; я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

- Нет, уж если вы взялись за роль парламентаря, так выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову.

Идя от Добролюбова, я встретила в передней Панаева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова.

- О чем хлопочет Некрасов? - сказал Панаев. - Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили, как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дела с "Современником", потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи... Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев! Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анненков воспользовался этим и нарочно громко говорил, чтобы все его слышали... Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он верно за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике.

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова.

- Ну, вот, не доставало этого! - с досадою воскликнул Некрасов.

В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжело вздохнув, произнес:

- Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбова! - И обратясь ко мне, он продолжал: ~ Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень я расстроен! Лучше завтра утром поговорим; нам обоим надо успокоиться.

Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, Добролюбов пожал плечами и заметил:

- Напрасно они думают, что, стоит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят!.. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства!..

Я долго еще разговаривала с Панаевым о выходке Тургенева, которая явно клонила к тому, чтобы лишить Добролюбова возможности сотрудничать в "Современнике". Панаев тогда

уже убедился, что был обязан именно своим близким приятелям тем, что о нем постоянно ходили всякого рода сплетни в литературной среде. В первую минуту огорчения Панаев говорил мне:

- За что они так всегда преследовали меня? Что я им сделал дурного? Если я такой дрянной человек, то как же они могли столько лет находиться со мной в таких коротких приятельских отношениях? Как хватало у них духу, после того, как они распускали всякие сплетни на меня, жать мне руку и садиться за мой стол? Как у них язык ворочался уверять меня в своей дружбе? Мне так тяжело и такая мучительная тоска давит меня, что я места не нахожу.

Панаев до ослепления был привязан ко всем своим старым друзьям, и на него сильно подействовала их лицемерная дружба. Он сделался скучен и молчалив и по возможности избегал их общества. Это заметили его мнимые друзья и приставали к нему с расспросами: "Что с тобой? Мы думали, что наш Панаев вечно будет юн, а он сделался неузнаваем. Мы все твои друзья, так тебя любим, что такая перемена в тебе нас огорчает".

Панаев конфузился и говорил мне:

- Хоть бы оставили меня в покое с своим участием: еще тяжелее мне делается от этого!..

Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне:

- Добролюбов - это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности. Но, Бог даст, все недоразумения выяснятся, и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе.

Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с "Современником", это не повлияет на их давнишнюю дружбу. Он имел право так думать, потому что, когда прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову:

- Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням. Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не поверил же? Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить.

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для "Современника". Принявшись за повесть "Накануне", он уверял, что пишет ее для "Современника", а между тем отдал эту повесть в другой журнал, оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для "Современника" и он скоро ее напишет.

Некрасов говорил: "Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинута нахрапом; мне надо было поступить так же, а я имел глупость этого не сделать... взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в "Современнике".

Разрыв Тургенева с "Современником" произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы

ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем-Горынычем, а Тургенев - богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех, как прежних, так и современных, авторитетных писателей.

Когда вышла книжка "Современника" со статьей Добролюбова о "Накануне", то в оправдание себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бекетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил цензора, чтобы он выгораживал его [193].

Когда увидели, что предсказания не исполнились и "Современник" с уходом из него Тургенева не только не погибает, а напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в "Современнике" свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм, а под видом женского вопроса проповедуют мормонство. В это же время появилась в "Колоколе" нелепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность.

Надо заметить, что "Колокол" уже терял свой престиж, потому что сведения, получаемые им из России, начали иссякать и были, в большинстве, неверны и нелепы; притом же русской печати дозволено было говорить о многих общественных вопросах, так что лондонская газета уже не представляла прежнего интереса.

Нетрудно было догадаться, кем была доставлена статья в лондонскую газету [194]. Один из сотрудников "Современника", Н.Г.Чернышевский, нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке [195].

Вскоре после разрыва Тургенева с "Современником", Панаев встретил во французском театре генерала А.Е.Тимашева, занимавшего видный и влиятельный пост [196]. Генерал поманил его к себе и укоризненно сказал:

- Ай, ай! Как это вы могли поссориться с вашим давнишним приятелем и таким бескорыстным сотрудником, как Тургенев [197].

Панаев отвечал, что с Тургеневым не было ссоры, а что он сам не захотел более сотрудничать в "Современнике".

- Я понимаю, - сказал генерал, - что он не мог оставаться сотрудником в журнале, в котором дается место темным личностям.

- Каким темным личностям? - спросил Панаев.

- Вы человек доверчивый, и вас легко эксплуатировать. По старому знакомству, я даю вам совет - очистить свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и Чернышевский, и всей их шайки.

Панаев начал защищать Добролюбова и Чернышевского, на это генерал ему сказал:

- Ваш милейший бывший приятель хорошо познакомил меня с этими ужасными личностями.

- Странно, почему же Тургенев вдруг нашел их ужасными личностями, когда прежде постоянно встречался с ними и приглашал их к себе?

- Пока не узнал их хорошо!.. Впрочем, я должен предупредить вас, что вы видите в моем лице самого горячего защитника Тургенева.

Некрасов тогда не поверил словам генерала Тимашева и полагал, что до него дошли слухи, распространяемые недоброжелателями "Современника", а он свалил это на Тургенева. Некрасов был уверен, что, как только Тургенев узнает, какую взводят на него клевету, то возмутится и докажет, что не способен на такую низость. Но Некрасов жестоко ошибся.

Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его рекламировали. После разрыва Тургенева с "Современником" эти приживальщики с каким-то азартом принялись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников "Современника". Так, между прочим, редакция "Современника" была извещена, что Тургенев уезжает за границу для того, чтобы на свободе писать повесть, под заглавием "Нигилист", героем которой будет Добролюбов, а вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину, в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл 30 тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале 50-х гг., а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова.

Карточные дела Некрасова мне были мало известны, но это обвинение я смело могу опровергнуть, потому что я и Грановский очень хорошо знали денежные средства умершей М.Л.Огаревой. Я вкратце изложу дело, из которого будет видно, имел ли Огарев какие-нибудь данные, чтобы взвести столь тяжкое обвинение на Некрасова.

В 1849 году Огарева, с которой я близко сошлась во время моего пребывания за границей, прислала мне доверенность для взыскания с ее мужа по векселю 100 тысяч рублей. Этот вексель муж выдал ей в первый год ее замужества, лет 9 или 10 тому назад. Уже два года, как Огаревы жили врозь. Я не хотела брать эту доверенность, но литературные друзья Огарева убеждали меня не отказываться, говоря, что, если доверенность попадет в руки какого-нибудь ходока по делам, то тот немедленно подаст ко взысканию вексель и наложит запрещение на недвижимое имущество Огарева, который, кроме скандала, мог через это понести большое расстройство в своих денежных делах. Хотя у Огарева было около 4 тысяч душ крестьян в разных губерниях, но он так был безалаберен, что наделал уже долгов. Огарев нарочно сам приехал в Петербург, чтобы упросить меня взять доверенность; он, при свидетелях, сидевших в кабинете у Панаева, дал честное слово, что уплатит по векселю. Этими свидетелями были: Тургенев, Анненков, В.П.Боткин. Я отвечала, что не возьму доверенности до тех пор, пока не получу от Огаревой согласие на миролюбивое окончание ее расчетов с мужем. Огарева дала согласие, и тогда я передала вексель Грановскому, предоставив ему иметь дело с Огаревым, находившимся в Москве, и была совершенно спокойна, так как все уверяли, что я не буду иметь никаких хлопот. Упомянутые мною свидетели не могли не знать, что у Огаревой не было никаких капиталов, потому что при них я упрашивала ее мужа послать ей хотя сколько-нибудь денег за границу, так как она сидит без гроша.

Вследствие неприятностей, возникших между одним московским семейством и Огаревым, он должен был поспешно уехать из Москвы за границу, дав Грановскому честное слово, что его поверенный, общий их приятель, уплатит по векселю, так как он поручил ему продать все его деревни, потому что не хотел более возвращаться в Россию. Распродажа имений Огарева произошла втихомолку и очень поспешно: боялись, чтобы не узнали о его намерении эмигрировать и не конфисковали бы его имений. Грановский, видя, что имения распродаются, а по векселю поверенный Огарева не уплачивает, дал мне знать, что необходимо прислать скорей в Москву поверенного, который предъявил бы иск судебным порядком.

Пока Огарева прислала новую доверенность поверенному на предъявление иска, пока он хлопотал судебным порядком о наложении запрещения на имения Огарева, все уже было

распродано, за исключением одной небольшой деревни, оцененной в 30 тысяч, которая и досталась Огаревой.

Об этом все приятели Грановского, а также Панаева и Некрасова, знали; следовательно, Огарева не получала от мужа никаких денег в уплату по векселю.

Огарева поручила своему поверенному продать доставшуюся ей деревню, и она была продана в кредит покупщику, который выдал два заемные письма сроком на два года. Но Огарева вскоре умерла, а ее наследники, брат и муж, вместо того, чтобы обратиться к покупщику, предъявили иск ко мне и не хотели принять заемных писем, которые хранились у меня, а требовали деревню.

Я не буду описывать всех притеснений, которые мне делал их поверенный, принимавший наследство. В конце концов, он сделал начет в 8 тысяч за полтора года владения деревней покупщиком, и мне пришлось уплатить эти деньги, чтобы скорей развязаться с столь неприятным делом.

Из сказанного мною, кажется, ясно, что и после смерти у Огаревой не осталось никаких денег, которые мог бы проиграть Некрасов.

Я узнала о письме Огарева от Добролюбова; он не был со мной согласен, что Некрасову следовало доказать, имевшимися у нас документами, что обвинение Огарева ложно.

- Не доводить же дело до третейского суда! - сказал Добролюбов. - Ясно, что Некрасову мстят за меня его прежние приятели. Все это печальные факты, показывающие, до какого нравственного развращения могут доходить люди. Неужели они не думают, что настанет время, когда в литературе укажут, как на небывалый пример, что в настоящую эпоху некоторые литераторы из личных своих целей и озлобления позорили себя клеветой... Без ужаса нельзя подумать, что если в литературе увеличится число подобных личностей, то они неизбежно подорвут уважение и доверие к печати в общественном мнении, тогда как каждый представитель ее обязан заботиться о том, чтобы своей безупречной жизнью приобрести право печатно высказывать свои взгляды на недостатки общества.

Некрасова ужасно потрясло письмо Огарева и еще более то, что бывшие его приятели-литераторы старались распространять слухи об этом письме.

- Я вижу, - говорил он, - что на меня устроена просто облава, затравить меня хотят. Не могу похвастаться, чтобы сочувственно относились к моим стихам в литературе, но уж лично ко мне они выказали бесчеловечное отношение. Право, люди неразвитые, в обществе которых я теперь провожу время, гораздо честнее и гуманнее. Никто из них не дозволяет себе таких клевет. Неразвитым людям еще простительно, если они неразборчивы в поступках, относительно своих личных врагов. Не раз вспомнешь Белинского; при нем не позволили бы себе литераторы так изводить клеветой кого-нибудь из личной мести. Очевидно, нам, как мальчишкам с дурными наклонностями, нужен строгий наставник, которого мы боялись бы. Скорей бы сменили нас в литературе люди с более честными нравственными принципами, а мы, кроме дурного влияния, ничего не приносим. Я чистосердечно сознаюсь, что своим образом жизни не могу служить хорошим примером, зато и не считаю себя безупречным рыцарем и не преследую других за их слабости. Мне только и остается одно утешение, что я в своей жизни не был завистником чужого таланта; напротив, радовался появлению его в литературе.

Панаев написал Огареву письмо и просил меня никому об этом не говорить. Один знакомый Панаева ехал за границу, и он поручил ему отвезти его письмо в Лондон. Панаев в своем письме стыдил Огарева и, между прочим, писал:

"Ты не дал даже себе труда подумать, откуда могли быть у твоей умершей жены 30 тысяч. Тебе следовало прежде проверить слова той личности, которая явилась к тебе с подобным сведением. Что Некрасов ведет большую игру, это верно, но это еще далеко от того, чтобы подозревать его в таком грязном поступке. Да и не нам с тобою быть судьями чужих слабостей,

оглянемся лучше на наше прошлое и спросим самих себя - имеем ли мы право презирать людей в их бесхарактерности и дурных увлечениях. Если строго судить, то мы должны сознаться во многих наших некрасивых поступках, и гораздо будет лучше, если мы не будем претендовать на роль строгих и карающих судей. Вы второй раз делаетесь сообщниками людей, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы опозорить личность другого человека из личной своей мести и зависти к его таланту. Не будьте так легковверны к словам литераторов, которые являются к вам из Петербурга с подобными сведениями о своих собратах. Вы живете слишком далеко от русской литературы и не следите за ней, судя по статье о Добролюбове, напечатанной в вашей газете; добросовестнее будет с вашей стороны не произносить ваших приговоров русским литераторам".

Получил ли ответ на свое письмо Панаев - не знаю, но только с тех пор в лондонской русской газете более не было никаких статей о Добролюбове и избличительных писем о Некрасове. Я так же, как и Панаев, не сомневалась в личности, которая подбила Огарева написать столь обидное и несправедливое письмо о Некрасове.

Между тем, здоровье Добролюбова заметно расстраивалось. Когда по утрам он приходил ко мне пить чай, в его лице не было кровинки; он страдал бессонницей, отсутствием аппетита и чувствовал сильную слабость. Доктор дал ему совет ехать за границу и отдохнуть от всяких занятий. Добролюбов в первую минуту говорил мне:

- Меня удивляет, как самый умный доктор дает подобный совет пациенту, зная хорошо, что ему невозможно этот совет выполнить.

- Вы должны ехать за границу, - заметила я.

- Уж вам-то не следовало этого говорить; вы знаете, что я только что развязался с долгом, который сделал мой покойный отец, построив себе дом в Нижнем. Знаете также, что доход с него так мал, что его не хватает на содержание моих сестер и на воспитание моих младших братьев; значит, моя обязанность заботиться о них; а я буду отдыхать целый год и тратить деньги на свое путешествие?!

- Вы не должны ни о чем другом заботиться, как только о своем здоровье.

- В том-то и дело, что не напрасно ли я потрачу время и деньги. А вдруг и со мной окажется такая же штука, как с Некрасовым, - доктора так же ошибаются в моей болезни? Может быть, у меня более серьезная болезнь и одним отдыхом не поправить здоровья...

- Поезжайте к более авторитетному доктору, ну, к двум, трем!

- Кажется, Некрасов перебивал у всех европейских медицинских светил, однако и они ошиблись в его болезни.

- Я вижу, что вам не хочется ехать за границу, вы придумываете разные отговорки, - сказала я.

- Я охотно проехался бы по Европе, если бы это не было сопряжено с такими денежными затруднениями для меня.

- Догадываюсь, что вы не можете расстаться с журналом, а именно от него-то вам и надо бежать за тридевять земель.

- Ну, теперь мне поздно расставаться с журнальной деятельностью; она необходима для моего существования, как рыбе вода.

- Для рыбы нужна чистая вода, а не зараженная гнилью. Сознаться, что в течение дня вы несколько раз взволнуетесь от разных неприятностей. Одни сплетни сколько перепортят у вас крови!

- А все-таки для меня невыносимо существовать без журнальной деятельности. Если бы мне сказали, что я могу дожить до глубокой старости, но с условием бросить журнал, я, не колеблясь, предпочел бы лучше прожить только до 30 лет, но не бросать свою журнальную деятельность.

Все близкие к Добролюбову люди настаивали, чтобы он скорее ехал за границу, да и он сам наконец понял, что ему необходимо восстановить свои силы.

Накануне своего отъезда Добролюбов долго сидел у меня и говорил о своих семейных делах. Несмотря на свою молодость, он был очень заботлив о своих сестрах и братьях.

В половине лета я также поехала за границу - на морские купанья во Францию, и написала Добролюбову, находившемуся в Италии, что отдала его братьев учителю, чтобы он их подготовил к вступительному экзамену в гимназию и что вместо меня о них будет заботиться одна наша общая знакомая дама, которая уже несколько лет занимается педагогиею и лучше меня умеет воспитывать детей. Добролюбов отвечал мне, что одобряет мое распоряжение.

Окончив морские купанья, я поехала в Париж и, по совету докторов, решила остаться на зиму за границей. Вдруг я получаю от Панаева письмо, в котором он извещает меня, что Добролюбов неожиданно вернулся из-за границы. Панаев писал, что, на его глаза, Добролюбов несколько не поправился, а даже скорее похудел. Меня очень рассердило, что Добролюбов вернулся к осени в Петербург, тогда как доктор строго запретил ему это делать. Вслед за письмом Панаева я получила и от Добролюбова письмо, в котором он писал, что возвратился в Петербург, потому что для его здоровья было совершенно бесполезно долее оставаться за границей, а между тем ему сделалась невыносима его праздная жизнь. "Теперь не время думать о своем здоровье и сидеть сложа руки за границей, - писал он, - когда столько есть дела в Петербурге. Признаюсь вам, меня огорчило ваше намерение остаться на зиму за границей; я рассчитывал, что скоро вас увижу. Но я не такой закоренелый эгоист и порадуюсь, если вам покойнее будет жить подальше от Петербурга, где точно для вас слишком много разных волнений, которые так вредно отзываются на вашу печень. Вернитесь к нам совершенно излечившейся от вашей болезни. Примитесь-ка за работу; вас не будут отрывать от нее, как это обыкновенно случалось с вами в Петербурге. Как напишете повесть, то сейчас пришлите".

Кроме того, Добролюбов описывал в этом письме, как он устроился на новой квартире, уведомлял, что взял к себе своих братьев от учителя и что его дядя поселился у него; затем строил планы - как на следующее лето жить с нами на даче.

В половине сентября я получила от Панаева письмо, которое меня очень встревожило и огорчило. Добролюбов простудился и расхворался; доктор нашел, что у него очень серьезная болезнь в почках. Я начала подумывать о возвращении в Петербург для того, чтобы, если Добролюбову не будет лучше, по возможности удалить от него заботы о братьях и, вообще, доставить больному более удобств, при его холостой обстановке. Вдруг получаю коротенькое письмо от Добролюбова:

"Если вам возможно, то вернитесь поскорей в Петербург, ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не поеду! Меня раздражает всякая мелочь в моей домашней обстановке. Вы можете видеть, насколько я болен, если придаю значение пустякам. Я убежден, что, если вы приедете, то мне легче будет перенести болезнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если вы принесете для меня эту жертву. Ответьте мне немедленно, можете ли вы приехать?"

Я телеграфировала Добролюбову, что скоро приеду [198]. Заграничный поезд прибыл в Петербург поздно вечером. Панаев встретил меня и на мой вопрос о Добролюбове сказал, что он уже три дня не выходит из дому вследствие лихорадки. Я решила навестить его завтра утром, как вдруг он сам явился неожиданно. Мне трудно было скрыть от него тяжелое впечатление, которое он произвел на меня своим болезненным видом. Я, конечно, побранила его за то, что он пришел так поздно и притом в дождь, тогда как доктор запретил ему выходить.

- Я предчувствовал, что вы меня встретите выговором, - шутливо сказал Добролюбов. - Извольте, я два дня лишних пролежу дома за сегодняшний вечер.

Он был в хорошем расположении духа и просидел у меня до часу. Я заметила, что у него сделался сильный жар и уговорила его переночевать на половине Некрасова.

Добролюбов спросил меня - очень ли он изменился. Я сочла за лучшее сказать ему правду.

- Вот, вы понимаете, как смешно больному человеку врать, что будто он пышет здоровьем. А я был прав, когда говорил перед отъездом за границу, что доктор ошибается, будто у меня нет никакой другой болезни, кроме утомления от усиленных занятий.

- Не надо вам было возвращаться осенью в Петербург. Простудились!..

Добролюбов горько усмехнулся и произнес:

- Простуда! Ну, да об этом теперь нечего говорить, спохватились лечить меня от моей болезни тогда, когда дали ей время развиться.

На другое утро он по-прежнему пришел ко мне пить чай и уверял меня, что отлично спал и чувствует себя бодрым.

- Вот видите ли, - говорил он, - никаких дурных последствий не произошло, напротив, я сегодня встал, не чувствую лихорадочного озноба; наверно и к вечеру не будет жара... Примусь писать.

Я вместе с ним пошла посмотреть - какая у него квартира и нашла, что она никуда не годится для больного человека: мрачная, темная и сырая.

Когда я присмотрелась к его домашней обстановке, то поняла причину его раздражительности. Дядя поминутно донимал его жалобами на племянников, на кухарок, постоянно заводил разговоры о том, какое тягостное бремя взял на себя, заведя хозяйством, обижался, что Добролюбов не может есть жирный суп и тощую курицу, зажаренную в горьком масле. Я распорядилась присылать Добролюбову обед от нас, и за это дядя его надулся на меня.

Добролюбов по-прежнему, если еще не с удвоенным рвением, заботился о журнале и, не обращая внимания ни на какую погоду, ездил в типографию и к цензору.

В самых первых числах октября он приехал к нам от цензора в десятом часу вечера, сильно раздраженный тем, что не мог уломать его, чтобы он пропустил вычеркнутые места в чьей-то статье.

Некрасов только что встал после обеденного сна и флегматически заметил:

- Охота вам была в такую скверную погоду ездить к цензору, толковать с ним битый час! Через два месяца пошлем к нему новый набор этой статьи, он и позабудет, что уже читал ее и наверно пропустит. Надо послать в типографию сказать, чтобы набрали другую статью.

Добролюбов пристально смотрел на Некрасова, и я заметила, что он раздражается его флегматическим тоном.

- Что же? мы будем преподносить читателям запоздалые статьи о вопросах, которыми живо интересуется общество?.. - спросил Добролюбов.

- Ну, что делать! - возразил Некрасов.

- А небось, - иронически отвечал Добролюбов, - если бы вы, проголодавшись, пришли в ресторан и заказали себе хороший обед, а вам бы подали подогретые кушанья, то не так покойно отнеслись бы к этому. Положим, мое сравнение неудачно, но для вас оно, может быть, в эту минуту будет понятнее.

Некрасов встрепенулся и произнес:

- Было время, что и я так же волновался, как вы!.. Я вовсе не охладел к журналу, а из горького опыта убедился, что надо благоразумнее относиться к подобным вещам. Вот вы волнуетесь, вредите своему здоровью, поскакали к цензору, а из этого никакого толка не вышло.

- Выйдет! - убежденным тоном ответил Добролюбов. - Я сейчас же иначе выражу те места, которые цензор выкинул, и завтра утром опять поеду к нему и не час, а два, три, буду сидеть у него и толковать ему, что он словно пуганая ворона - куста боится!

- Еще более расстроите себя, если цензора не уломаете! Плетью обуха не перешибешь! - заметил Некрасов и начал рассказывать, что в 1848 г. проделывали цензора со статьями и какие курьезные объяснения ему приходилось иметь с ними.

- Однако вы тогда были настолько неблагоразумны, что употребляли все усилия добросовестно исполнять свою обязанность перед читателями "Современника"? - сказал Добролюбов. - Как же теперь хотите издавать "Современник" спустя рукава, оправдываясь благоразумием!

- Ну, делайте, как знаете! - отвечал Некрасов и пошел одеваться, чтобы ехать в клуб, а Добролюбов уселся за работу.

Уходя, я спросила его, прислать ли ему чай, но он отвечал, что придет ко мне пить чай, как только окончит работу; но не прошло и часа, как человек пришел мне сказать, что Добролюбову нездоровится. Я нашла Добролюбова лежащим на диване; у него был сильный пароксизм лихорадки, и он едва мог проговорить: "Согрейте меня!.. Только ради бога, не посылайте за доктором!" Я укутала Добролюбова и напоила его горячим чаем; после озноба у него сделался сильный жар. Когда он перестал гореть, то встал на ноги, но так был слаб, что не мог стоять и снова сел, сказав:

- Как же я доберусь до дому?

- Я вас не пущу домой, если бы вы даже и не чувствовали слабости.

- Я охотно останусь у вас ночевать, мне противна моя мрачная квартира, похожая на склеп... да и я в таком настроении, что не хочется оставаться одному.

Я советовала ему лечь спать, но он просил меня посидеть около него и прибавил:

- Это напоминает мне детство. Я был хворый мальчик и часто страдал бессонницей; мать, бывало, ночью придет посмотреть на меня и увидя, что я не сплю, сядет около меня, и мы разговариваем.

Добролюбов с чувством начал рассказывать, какая была его мать умная, развитая и добрая женщина, и потеря ее была так для него ужасна, что в первое время ему приходила мысль лишиться себя жизни, в таком был он отчаянии.

Чтобы отвлечь Добролюбова от тяжелых воспоминаний, я стала ему рассказывать о Белинском, о котором он и прежде много меня расспрашивал.

В час ночи вернулся Некрасов, и Добролюбов его встретил словами:

- Я думаю, вы никак не ожидали опять найти у себя ночлежника?

- Хорошо сделали, что остались, погода отвратительная! - отвечал Некрасов.

- Поневоле остался, такой был сильный пароксизм лихорадки, что я стоять не могу на ногах. Спасибо, Авдотья Яковлевна согрела меня и даже рассеяла мои мрачные мысли, рассказав мне много интересного о Белинском.

- Жаль, что вы сами не знали этого человека! - сказал Некрасов, сев около дивана, на котором лежал Добролюбов. - Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним, вдвоем, часов до двух ночи беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... Вы вот вступили в жизнь и в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я!.. Некрасов махнул рукой и продолжал:

- Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше! Я бы был не тем человеком, каким стал теперь!

Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет.

- Тяжелые минуты он переживает в сегодняшнюю ночь, - тихо заметил мне Добролюбов.

- Есть и хорошая сторона в этих тяжелых минутах для него, - отвечала я. - После них он всегда принимается писать стихи.

- В таком случае, пусть он почаще вспоминает о Белинском, - произнес Добролюбов.

Через четверть часа Некрасов пришел к нам и сказал:

- У меня тоже нет сна, давайте пить чай!

Некрасов, ложась спать, распорядился послать рано утром записку к доктору Шипулинскому, чтобы он приехал осмотреть Добролюбова, но при этом сделал бы вид, что посещение случайное.

Шипулинский, выслушав Добролюбова, объявил Некрасову, что дело принимает серьезный оборот, что Добролюбову не встать с постели, так истощен его организм.

Мы решили, что Добролюбову будет удобнее лежать у нас в большой светлой комнате, нежели в его маленькой квартире. Я распорядилась, чтобы ему принесли халат и туфли.

- Значит, вы намерены оставить меня надолго здесь? - спросил Добролюбов.

- Да, пока вы не поправитесь, - отвечала я. - Разве вам неудобно будет у нас?

- Каких еще удобств можно мне желать, - отвечал Добролюбов, но начал беспокоиться, что может стеснить Некрасова, да и братьев ему не хотелось оставлять одних с дядею.

Я успокаивала Добролюбова тем, что его братья могут только ночевать в квартире, а целый день будут находиться у меня.

- Это опять мы все трое очутимся на ваших руках? Для нас-то хорошо, а вам будет много хлопот! - проговорил он.

Силы Добролюбова уже не восстанавливались. Но он продолжал заниматься журналом: просматривал цензорские корректурные листы, читал рукописи. У него было столько силы воли, что он ничего не говорил о своем болезненном состоянии, и ему было неприятно, если кто-нибудь расспрашивал его о здоровье, но со мной, когда нам случалось оставаться вдвоем, он был откровенен.

- Я, пожалуй, совершенно помирился бы с своим теперешним положением, - говорил Добролюбов, - если бы только имел силы писать; хоть год просидел бы, не выходя из этой комнаты.

Когда я кормила его обедом, он замечал:

- Доставляю вам столько хлопот! Вам приходится придумывать для меня разные кушанья, которые переваривал бы мой желудок, а он окончательно отказывается питать мое тело.

Я стала замечать, что для Добролюбова сделалось тягостным присутствие посторонних лиц. Он не принимал участия в общем разговоре, ложился на кушетку и закрывал себе лицо газетой. Я запретила пускать к нему посторонних. Добролюбов догадался об этом и заметил мне:

- Вы угадываете мои мысли, я только что хотел вас просить, чтобы вы никого ко мне не пускали, кроме Чернышевского.

Чернышевский каждый вечер аккуратно приходил посидеть с Добролюбовым, который всегда с нетерпением ждал его прихода и оживлялся, беседа с ним.

Несмотря на физическую слабость, голова Добролюбова была по-прежнему свежа, и он живо интересовался общественными вопросами, литературой и журналом.

Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаимной привязанности, но нельзя было не видеть, насколько они искренно любят и уважают один другого. Они никогда не расточали в глаза похвал статьям один другого, но откровенно высказывали о них свое мнение.

Тяжело было смотреть, как с каждым днем Добролюбов физически слабел и угасал; ему даже было трудно сидеть в кресле; он больше лежал на кушетке, но продолжал работать. Раз в последних числах октября Добролюбов принялся читать какую-то толстую рукопись, но от слабости она выпала у него из рук. Он тяжело вздохнул, и этот вздох скорее походил на стон; он закрыл глаза и лежал несколько минут неподвижно, при этом лицо его приняло такое страдальческое выражение, что я не могла удержать слез. Через несколько минут Добролюбов окликнул меня. Я подошла к нему, стараясь принять равнодушный вид. Он пристально посмотрел на меня, покачал с укоризной головой и потом проговорил:

- Почитайте-ка мне рукопись, надо скорей дать юному автору ответ; он, бедный, наверно измучился, ожидая решения участи своего первого произведения.

Я принялась читать рукопись, а Добролюбов лежал с закрытыми глазами; я думала, что он дремлет, да и не до того ему было, чтобы вникать в чтение, но оказалось, что он следил за чтением и сделал несколько замечаний насчет невыдержанности характера героя романа. Чтение наше было прервано получением письма от сестер Добролюбова из Нижнего. Прочитав письмо, Добролюбов печальным тоном произнес:

- Мои сестры уже взрослые, но вот братья!..

Он тяжело вздохнул и замолчал.

На другой день Добролюбов был задумчив и чем-то сильно встревожен. Когда ему надо было ложиться спать и я хотела уходить, он попросил меня остаться еще ненадолго, говоря, что у него есть до меня большая просьба.

- Только, - прибавил он, - прежде дайте слово не спрашивать меня ни о чем, как бы ни показалось вам странно мое желание.

Я дала

- Наймите мне новую квартиру и перевезите меня скорее в нее... Я знал, что вы удивитесь! - тоскливо произнес он.

Я отвечала ему, что завтра же утром пойду искать ему квартиру.

- Не подумайте, что мне нехорошо у вас, но так надо!.. Мне стыдно, что я сделался таким привередником, что не могу лежать на своей старой квартире. Мне надо теперь больше света и воздуха. Я об одном попрошу вас, когда вы будете нанимать квартиру для меня, чтобы она была поближе от вас. Я хочу, чтобы мои братья были возле меня.

Я сообщила Панаеву и Некрасову о желании Добролюбова переехать от нас и предупредила их, чтобы они не уговаривали его остаться и не заводили бы даже разговора с ним о новой квартире.

Я объяснила себе желание Добролюбова переехать на квартиру тем, что ему хотелось избавить нас от всех печальных процедур, когда в доме стоит покойник. Хотя ему и не говорили, но он догадался, что у него развилась "сахарная болезнь".

Я нашла квартиру через дом от нас, в доме Юргенса; пока ее устраивали, приискивали прислугу и т.п., прошла неделя, в продолжение которой Добролюбов ни о чем меня не спрашивал и был вообще очень молчалив и печален. 1-го или 2-го ноября вечером я сказала ему, что квартира совершенно готова. Добролюбов испуганно повторил: "Все готово? Значит, я в последний раз переночую у вас?" Он задумался и с тяжким вздохом прибавил: "Завтра утром часов в 11 перевезите меня... Только я вас попрошу, чтобы никто со мной не прощался... вы от меня поблагодарите Панаева и Некрасова... Мне и так будет тяжело".

На другое утро, придя поить Добролюбова утренним чаем, я заметила, что у него опухли глаза от слез.

Человек Некрасова сказал мне, что у Добролюбова всю ночь горел огонь и он два раза вставал с постели и сидел подолгу в креслах, положив руки на стол и склонив на них голову.

Добролюбов всегда встречал меня утром, улыбаясь и уверяя, что спал хорошо; но в это утро он встретил меня молча, хлебнул два глотка чаю и лег на диван лицом к стене. Я ждала, когда он сам скажет, что пора уезжать. У меня к 11 часам стояла у подъезда карета, и люди с креслом ждали на лестнице новой квартиры, чтобы внести больного в 3-й этаж. Но проходил час за часом, а Добролюбов все лежал, не меняя позы.

Некрасов и Панаев советовали мне спросить его, хочет ли он ехать, но я боялась еще сильнее расстроить его. Наступил час его обеда. Я подошла к нему и сказала, что обед подан.

Добролюбов с трудом привстал и удивленно спросил:

"Неужели уж 4 часа?" - пересел на кресло к столу, но есть ничего не захотел и опять лег на диван лицом к стене.

Я подумала, что он отложил свой переезд. В 9 часов вечера человек Некрасова пришел ко мне и сказал, что Добролюбов зовет меня к себе. Я нашла его сидящим на диване; он поддерживал голову руками, облокотившись о колени.

- Ради бога, увезите меня скорей, - умоляющим голосом проговорил он.

Я пошла распорядиться, а через несколько минут человек Некрасова прибежал опять за мной, говоря, что больной беспокоится, что я его не везу.

- Как долго!.. Скорей одевайте меня! - произнес Добролюбов, когда я вошла.

Одевание его состояло в том, чтобы надеть большие теплые сапоги. Я повязала ему горло теплым шарфом. Добролюбов со стоном произнес: "Как мне тяжело", - упал лицом на подушку и, качая головой, повторял:

"Тяжело, тяжело".

- Зачем вы уезжаете? останьтесь! - проговорила я. Добролюбов выпрямился и твердо произнес: "Нет, нет! надо уехать". Он встал и, несмотря на слабость, пошел в переднюю, потребовал, чтобы скорей подали шубу; но когда ее надели, он не мог перенести ее тяжести, опустился на стул и закрыл глаза. Я и прислуга с минуту стояли перед ним, не зная, что нам делать. Наконец Добролюбов встрепенулся и проговорил: "Едемте".

Его взяли под руки, свели с лестницы и усадили в карету. Я села с ним. Он молчал, пока не подъехали к его новой квартире; на подъезде его хотели посадить в кресло, чтобы нести на лестницу. Он воспротивился этому, говоря: "Взойду сам". Но, конечно, едва мы довели его под руки до первой площадки, как он уже не мог идти далее и безропотно повиновался, когда его усадили в кресло, понесли наверх, донесли до самой кровати, раздели и положили в постель. Он неподвижно лежал несколько минут с закрытыми глазами, потом обвел глазами комнату, посмотрел на меня, кивнул мне головой и слабым голосом проговорил: "Я спать хочу!"

Он спал более часу. Чернышевский и доктор сидели в столовой. Добролюбов более недели как не хотел принимать лекарства и видеть доктора, сказав мне: "Теперь не нуждаюсь ни в докторе, ни в их лекарствах". Когда он проснулся, то улыбнулся мне и проговорил: "Мне теперь легче!"

По моей просьбе он выпил немного бульону и потребовал к себе братьев, с которыми начал говорить об их уроках. Когда я ему сказала, что пора спать, и стала прощаться с ним, он спросил меня, в какое время я приду завтра. Я отвечала, что зайду напоить его утренним чаем.

- Так рано? Это было бы очень хорошо, но вам надо отдохнуть, я вас сегодня замучил... Я стал ни на что не похож.

- Ложитесь-ка спать, усните хорошенько, - отвечала я и спросила, не велеть ли человеку лечь в его комнате.

- Зачем! вы ведь позаботились обо всем, у кровати есть шнурок, я позвоню, если что будет мне нужно.

Со дня переезда Добролюбова на квартиру он уже не вставал с постели и не мог более двух минут держать в руках газету, но был спокоен. Чернышевский два раза в день навещал больного и, чтобы он не утомлял себя разговором, оставался не более получаса в его комнате.

С замечательным терпением Добролюбов переносил возрастающую в нем слабость. Нанятый мною лакей говорил мне о кротости его характера: "За здоровым ходить больше хлопот, чем за таким больным!.. Только дивисься на него!"

10-го ноября, когда я утром пришла к Добролюбову, человек, отворив мне дверь, тревожно сказал: "Ах, Авдотья Яковлевна, нашему больному нехорошо, должно быть, он всю ночь не спал; без их звонка я не смел входить к ним, а стоя у дверей, я слышал, что он стонал, а недавно уж два раза спрашивали - не пришли ли вы..." Добролюбов встретил меня словами:

- Мне вообразилось, что у вас сделался припадок болей в печени и вы сегодня не придете ко мне, а у меня до вас есть опять большая просьба - эта будет последняя... Насилу дождался утра.

Я видела, что он сильно взволнован и что его лицо за ночь страшно изменилось.

- Прислали бы за мной, чем ждать утра! - отвечала я.

- Недоставало только, чтобы я еще ночью не давал вам покою!

- Говорите же, что нужно мне сделать?

- Привезите мне доктора, который вылечил горло Некрасова.

Я отвечала, что сейчас поеду за доктором.

- Мне именно и хотелось просить вас, чтобы сами поехали, а то просить его запиской пройдет много времени, да, может быть, он еще и не приедет, а мне нужно его видеть сегодня... непременно сегодня!

Доктора с большой практикой трудно застать дома, так что мне удалось только в 4 часа его видеть. Но этот день у него был приемный, и множество пациентов ждали его возвращения домой.

Добролюбов был прав; если бы я не поехала сама, доктор не приехал бы, потому что находил бесполезным свой визит; доктору было известно, что Добролюбов доживает последние дни, что его желание - один каприз, о котором он скоро забудет. Но я упростила доктора приехать, и он обещал быть в 7 часов.

- Все одни неудачи мне! - заметил Добролюбов, когда я явилась к нему с ответом доктора.
- Я надеялся, что вы придете вместе с ним... ну, что делать, помучаюсь еще до его приезда...

Доктор приехал в назначенный час, пробыл у Добролюбова с четверть часа, и когда вышел от больного, то печально сказал: "Дня два или три разве протянет... Я пропишу рецепт, чтобы не огорчить его... Он меня спрашивал, можно ли ему шампанское и устрицы. Давайте все, что он попросит!"

Когда я вошла с рецептом в руках к Добролюбову, он сидел на постели, сжав свою голову руками. Увидев рецепт, он насмешливо сказал: - "таки прописал лекарство, пожалуйста, не посылайте в аптеку!"

Глаза Добролюбова блестели, и он, нервно улыбаясь, продолжал:

- Я чуть не рассмеялся в глаза доктору, когда он после обычных докторских утешений ответил на мой вопрос, можно ли мне шампанское и устрицы: "Все можно". Он не понял моего вопроса и не выдержал своей роли. Он вообразил себе, что говорит с больным, у которого голова потеряла способность ясно понимать вещи...

Добролюбов опять схватился за голову и с отчаянием произнес:

- Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать... ничего! Как зло надсмеялась надо мной судьба! Пусть бы раньше послала мне смерть!.. Хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное... теперь ничего, ничего!

Он упал со стоном на подушки, стиснул зубы, закрыл глаза, и слезы потекли по его впалым щекам.

Я была не в силах смотреть на его страдания и также расплакалась.

Пролежав не более минуты с закрытыми глазами, он открыл их и слабым голосом проговорил:

- Не плачьте!.. не совладал я с своими расхолодившимися нервами! Перестаньте! Вы стыдите меня за мое малодушие и глупость, которую я сделал!.. Будем по-прежнему тверды... Ни для вас, ни для меня не был неожиданностью исход моей болезни! Встретим конец, как следует! Я теперь буду покоен!.. больше не расстрою вас, и вы постарайтесь по-прежнему быть твердой... мне легче будет... позовите ко мне братьев... не бойтесь... я овладею собой!

Добролюбов все это говорил с большими перерывами.

Мальчики пришли. Добролюбов спросил, готовы ли у них уроки к завтрашнему дню, пристально глядел на них, потом погладил каждого по голове и с улыбкой произнес: "Теперь идите кончать свои уроки!"

И он закрыл глаза, но скоро опять открыл их и спросил:

- Чернышевский здесь?

- Позвать его? - спросила я.

Добролюбов не вдруг ответил:

- Нет! Ему и мне будет тяжело!.. Желая от души ему всего хорошего, как в его семейной жизни, так и в его литературной деятельности. Я попрошу более никого не впускать ко мне. И вам бы не следовало быть около меня. Я устал, засну!

С этого вечера Добролюбов сделался молчалив; он покорно выпивал бульон, когда я ему подавала, больше лежал с закрытыми глазами; откроет их, поглядит на меня и опять закроет. Но слух у него сделался чрезвычайно тонок; как бы тихо я ни сказала что-нибудь человеку - он все слышал и просил меня не говорить шепотом. За три дня до его смерти, я заметила, что он начал не так внятно произносить слова. Я сообщила это доктору, и тот, желая удостовериться, не началась ли уже агония, тихонько вошел в комнату; но только что он приблизился к изголовью, Добролюбов открыл глаза и спросил: "Кто вошел?"

Я должна была солгать, что никого нет... На другой день не было уже сомнения, что агония началась: умирающий дышал тяжело, нижняя челюсть ослабела; он то высылал меня от себя, то снова посылал за мной человека. Желая мне что-то сказать, он произнес несколько слов так невнятно, что я должна была нагнуться близко к нему, и он, печально смотря на меня, спросил:

- Неужели я так уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

- Могу, - отвечала я.

- Поручаю вам моих братьев... Не позволяйте им тратить на глупости денег... проще и дешевле похороните меня.

- Вам трудно говорить, потом доскажете, - заметила я, видя его усилия говорить громче.

- Завтра будет еще трудней, - отвечал он. - Положите мне руку на голову! Вы для меня делали то, что только могла делать одна моя мать. - И он замолк...

Чернышевский безвыходно сидел в соседней комнате, и мы с часу на час ждали кончины Добролюбова, но агония длилась долго и, что было особенно тяжело, умирающий не терял сознания.

За час или два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что он мог дернуть за сонетку у своей кровати. Он только что высрал меня и человека... но опять велел позвать меня к себе. Я подошла к нему, и он явственно произнес: "Дайте руку..." Я взяла его руку, она была холодная... Он пристально посмотрел на меня и произнес: "Прощайте... подите домой! скоро!"

Это были его последние слова... в два часа ночи он скончался.

В течение двух дней, с утра до вечера, масса публики перебивалась у покойника. В день похорон я в восьмом часу пошла проститься с ним, пока еще никого не было (в 9 часов назначен был вынос), но на дворе уже собралось множество народу, на лестнице также едва можно было пройти. Около дома и на улице тоже стояла толпа. Я не поехала на кладбище, потому что чувствовала себя совершенно больной. В 9 часов я подошла к окну своей комнаты. Вся улица была запружена народом, хотя для любителей торжественных похорон не на что было поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни венков. Несколько священников явились без приглашения проводить покойника. Простой дубовый гроб, без венков и цветов, понесли на руках, а парные дроги и две-три наемные кареты следовали за процессией.

Панаев вернулся с похорон и хотел мне рассказывать о них, но слезы душили его; он подошел к окну, постоял минуты две, не поворачивая головы, и, наконец овладев собой, сказал:

- Кладбищенский священник на прощанье сообщил мне и Некрасову, что около могилы Белинского осталось еще одно место для литератора, точно приглашал кого-нибудь из нас поторопиться и занять эту могилу.

Клевета преследовала Добролюбова и после смерти; но сплетни, распускавшиеся его литературными врагами, были так нелепы и пошлы, что не заслуживают упоминаний.